

Р. О П И Т Ц

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ ДОСТОЕВСКОГО
(РОМАН «ИДИОТ»)

Приходится выразить сожаление, что Т. Манн дал своему эссе о Достоевском заглавие: «Достоевский, но в меру». По авторскому намерению, оно должно было подчеркнуть, что его цель — предисловие к книге, включающей всего лишь шесть небольших произведений великого русского писателя, и что эти скромные масштабы издания требуют известных ограничений также и от автора комментария. Впрочем, они представлялись ему не столь уже нежелательными: взявшись за работу о Достоевском, нелегко избежать опасности написать о нем целую книгу. Однако выбранное Т. Манном заглавие впоследствии не раз получало превратное толкование. Его воспринимали как предостережение в духе некоторых других афористически заостренных формулировок. Луначарский, например, закончил серию своих статей о Достоевском выводом: «Если мы должны учиться по Достоевскому, то никак нам нельзя учиться у Достоевского».¹ Такая концовка не соответствовала всему богатому содержанию его эмоционально современных размышлений. Хотя рассматривались все «за» и «против» Достоевского, но в конечном счете «против» явно перевешивало: не учитывалось, что подобная антиномия исключала возможность диалектического подхода к литературной традиции. При этом цитировалось полемическое замечание М. Горького: «Достоевский — гений, но злой гений наш».²

Однако все это имело свое оправдание в духе времени. В период между первой русской революцией и началом мировой войны Горькому пришлось обратить все силы своей огромной личности на разоблачение того интеллектуального мещанства, которое рядилось в обрывки цитат из Достоевского, прикрывая ими свое ренегатство, свои призывы к терпению и шовинизм.

¹ Луначарский А. В. Собр. соч., т. 1. М., 1963, с. 195.

² Горький М. Собр. соч., т. 24. М., 1953, с. 147.

Бесславная история немецкого интеллигентного обывателя также насчитывает немало попыток узурпировать творения гения, всю свою жизнь со страстной непримиримостью выступавшего против буржуазной бесчеловечности. Достоевский сумел схватить взглядом все буржуазное общество на сравнительно ранней ступени его развития, но при этом он обнаружил «противоречия, разрешение которых превосходит возможности отдельного человека» (Константин Федин).³ И именно идеологи буржуазии, с которых он без устали срывал маски, пытаются объявить его своим!

Влияния этих идеологов не избежал и Томас Манн. Его советчиками по вопросам, связанным с Достоевским, были Александр Элиасберг и Дмитрий Мережковский — создатели и популяризаторы консервативно-буржуазного, более того — контрреволюционного образа Достоевского. Первый из них (к его «Русской антологии» Т. Манн написал в 1921 г. предисловие) пытался найти единственное объяснение «двойственности» Достоевского в его эпилепсии (что, однако, не помешало ему истолковать роман «Бесы» как «апокалипсис русской революции»). Второй, которого Т. Манн сочувственно цитирует как в вышеназванном предисловии, так и в написанном через 25 лет эссе о Достоевском, был решительным противником большевиков уже с 1905 г., а в начале 20-х годов выступал как глашатай антисоветской эмиграции. И все же, имея таких советчиков, Т. Манн, который уже в ранней молодости испытал в своем духовном и творческом становлении влияние Достоевского, нашел для своего предисловия к изданию Достоевского это двусмысленное и как бы слегка предостерегающее название.

Не меркой Мережковского надо было мерить величие Достоевского. «Мощь и широта этой личности требует новой меры», — так, вырываясь далеко за пределы буржуазных масштабов, пишет Ст. Цвейг в своем гимне Достоевскому (созданном также в годы сразу после Октябрьской революции).⁴ И он прав: с поразительным чутьем русский писатель сумел заметить глубокие перемены в общественной структуре своей страны. О них рассуждают его герои, захваченные таким бурным водоворотом сюжетных перипетий, который уже сам по себе свидетельствует о глубине и стремительности совершающихся социальных изменений. «Тут у вас много разного наболело иросло» (8, 100). Вот к какому выводу приходит князь Мышкин, пробыв в России лишь несколько часов, но часов, переполненных событиями. А его юный спутник Коля Иволгин спрашивает сразу о главном: «И как это так всё устроилось, не понимаю. Кажется, уж как крепко стояло, а что теперь?» (8, 113). Обеспокоены и сильные мира сего, даже недалекий генерал Епанчин смутно чувствует:

³ Литературная газета, 1971, 17 ноября.

⁴ Z w e i g St. Drei Meister. Leipzig, 1920, S. 91.

«В воздухе как будто что-то носится, как будто летучая мышь, беда летает, и боюсь, боюсь!» (8, 262). А его жена со свойственной ей грубоватой меткостью заявляет: «Всё навыворот, все кверху ногами пошли» (8, 237). Именно ощущение, что «всё навыворот», что произошла переоценка всех ценностей и правильная оценка утрачена, — это ощущение и является исходным для данного романа, как, впрочем, и для большинства произведений Достоевского.

В статье «Л. Н. Толстой и его эпоха»⁵ Ленин пользуется в качестве меткой характеристики эпохи между 1861 и 1905 гг. цитатой из «Анны Карениной»: «У нас теперь все переверотилось и только укладывается». Приведенные выше строки из «Идиота» характеризуют процесс капитализации страны с неменьшей точностью и глубиной. Этот процесс имел в России свои особенности. Капитализм «наступал почти катастрофически»⁶ и в то же время с запозданием. Капиталистическому перевороту были свойственны черты жестокости. Такой стремительный натиск в кратчайшие сроки устремил страну от феодализма к пролетарской революции. Русская буржуазия в еще большей степени, чем западноевропейская, несла на себе с момента рождения печать грядущей гибели. Генерала Епанчина не зря мучают дурные предчувствия: его не спасет и превращение из помещика в члена нескольких акционерных обществ.

Полнее всего атмосфера эпохи воплощена в мрачной и противоречивой фигуре Рогожина. Нужны были шекспировский Шейлок и бальзаковский Гобсек, чтобы в новых исторических условиях в литературе мог появиться еще один купец, не уступающий своим литературным предшественникам. Сам по себе Рогожин — неплохой малый; в нем есть что-то от Отелло. Но от его прикосновения все превращается в товар. Готовящаяся женитьба Гани на Настасье Филипповне уже предполагает продажу человеческой красоты, однако это наполовину дворянская интрига. Но стоит лишь появиться Рогожину — и дело разгорается, сделка превращается в аукцион, и в фантастических ставках этого аукциона ощущается такая безудержность, что он как будто даже теряет свой деловой смысл. С мизерного предложения трех тысяч рублей Рогожин перескакивает сразу на 18 тысяч, затем на 40 и, наконец, узнав, что другая сторона уже предлагала 75, — на сто тысяч рублей. «Захочу, всех вас куплю! Всё куплю!» (8, 97), — в исступлении орет этот одурманенный водкой, азартом и страстью купец. Когда позднее речь идет о произведении искусства, — о картине Гольбейна «Христос во гробе», — цена у Рогожина опять взлетает, как на аукционе: 2 рубля—350—400—500! «Моя! Всё мое!» (8, 143), —

⁵ Ленин В. И. Собр. соч., т. 20, с. 100.

⁶ Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. Изд. 3-е. М., 1972, с. 32.

этот вопль пьяного торжества катится, того гляди, захлебнется, а голос вот-вот сорвется. С молотка идут ценности, выше которых нет ничего для Достоевского: человек, искусство, Христос, Россия. Настасья Филипповна не случайно названа в романе «чрезвычайно русской женщиной» (8, 104): для писателя, вынужденного жить в это время за границей, она олицетворяет любовь к родине. Однако аналогичная роль намечена в романе и для Аглаи: в самые тяжелые минуты Мышкин, думая о ней, перестает ощущать себя иностранцем: «Мне очень вдруг на родине понравилось», — признается он ей (8, 264).

Достоевский вынужден был бежать за границу от своих кредиторов. Над романом «Идиот» он работает в Женеве, Веве, Милане и Флоренции, живет в бедности, жадно ловит каждое русское слово, любое газетное сообщение из России. Книга его полна тревоги о судьбах родины, оказавшейся в руках таких вот кредиторов и аукционеров, страны, где в трагических столкновениях растрачиваются впустую огромные духовные силы. Писатель выявляет эти скрытые силы, а точнее — следит за их становлением в ходе переживаемого страной стремительного развития.

Парадоксальным образом духовные силы Настасьи Филипповны разбудила в ней именно трагедия «куртизанки». Аглая тоже смутно чувствует фальшь своего существования. И все же оно кажется ей естественным, пока совершающиеся вокруг события не делают преградой ее стремлению к счастью. Тогда и для нее становится невозможной прежняя жизнь «генеральской дочки». Обе женщины — отнюдь не очарованные принцессы, ждущие, пока их расколдуют. Они чувствуют в себе силы, необходимые для спасения. Гордость, отказ от пассивного ожидания, беспощадная честность в оценке собственного положения — все это могло бы, казалось, обеспечить для обеих более благоприятный исход.

Перед ними открываются три пути, но на поверку все три оказываются для них неприемлемы. Заурядный буржуа Ганя не достоин ни той, ни другой. Его роль в романе постепенно сходит на нет. Любовь князя Мышкина унизила бы обеих: как может допустить столь гордая красота, чтобы ее спасли из сострадания? Четырехугольник «Настасья Филипповна—Аглая, Мышкин—Ганя» первоначально и составлял основу сюжетной схемы романа. Но в дальнейшем мысли о судьбе России и ее общественном развитии расширили эту схему и заставили добавить к ней Рогожина для Настасьи Филипповны и отпрыска аристократического рода Радомского для Аглаи, но и эти пути грозят несчастьем и не дают выхода. Так Достоевский последовательно сводит все сюжетные линии к той сцене, где «соперницы» уже не могут не осыпать друг друга оскорблениями, хотя ни та, ни другая не была бы счастлива с Мышкиным; идея этой сцены зародилась одновременно с первым планом романа. Как бы гордо

Аглая ни провозглашала своим девизом: «Я в торги не вступаю» (8, 71), — она в них уже втянута.

Первая и четвертая части романа заполнены целенаправленным действием, развивающимся в лучших традициях старого любовного и приключенческого романа (недаром одним из учителей Достоевского был Виктор Гюго). Между этими двумя «аллегро» романист вставляет две замедленные части. Местом действия большинства сцен становится Павловск — веранда на даче Епанчиных, очень похожая на нее комната Мышкина и сам Павловский парк, а Петербург в начале второй части предстает в своей дымке жаркого июньского дня — в отличие от ноябрьской призрачности первой части. Обе средние части не лишены и остросюжетных моментов — покушение Рогожина на Мышкина, неудавшееся самоубийство Ипполита, однако в основном «действие» разворачивается в интеллектуальной сфере. Диалоги следуют один за другим, в третьей части они прерываются большим монологом Ипполита, во второй — внутренним монологом Мышкина перед эпилептическим припадком. Даже свидания князя с Аглаей, а затем с Настасьей Филипповной превращаются — таков уж характер героя — в спокойную беседу.

Все эти блестящие диалоги и монологи отражают не просто события, но и их духовную и политическую подоплеку. А подоплекой является многое в устоях той уродливой системы, которая заставляет людей ходить «вверх ногами». Достоевский являет здесь свою последовательно антибуржуазную позицию. Ее истоки редко находили понимание у исследователей, а итоги считаются более чем сомнительными.

Вполне объяснимо, впрочем, что либерализм — политическое самовыражение развивающегося капитализма — кажется писателю в условиях всякого феодального государства результатом импорта, и импорта излишнего. Вовсе не достоин подражания, с его точки зрения, парламентаризм, который Достоевский мог наблюдать — прежде всего в британском варианте — в послереволюционной Европе (но еще до успехов партии Августа Бебеля на выборах). Не стоит возражать в этой связи, что парламентскую трибуну можно превратить в орудие прогресса — такой политически дальновидный писатель, как Достоевский, не может считать прогрессом усовершенствование заведомо порочной системы, а потому ему претят лозунги либеральной буржуазии («Гласность суда!», «Свобода критики!», «Право победит!»). Особенно ярко демонстрируется это в споре о том, что является бóльшим прогрессом — гильотина или расстрел, т. е. усовершенствование форм расправы, какую чинит порочная система над своими противниками. Через два года после казни Каракозова, покушавшегося на жизнь царя, Достоевский высказывается в своем романе против смертной казни как таковой.

Следуя законам контрастного изображения, Достоевский ту же проблему подает и в комическом аспекте. Особенно под-

ходящим для такой интерпретации кажется ему пресловутый «женский вопрос». Десять раз упоминается он в романе и всегда вроническом контексте: то пьяный генерал Иволгин твердит фразы, вычитанные из «Indépendance Belge», то философствует о «женском вопросе» 15-летний Коля; «принципиальные» разногласия на эту тему приводят к трехдневной размолвке между ним и Лизаветой Прокофьевной, а когда эта мать трех дочерей решительно не может совладать с нахлынувшими проблемами, она жалуется: «Всё это новые идеи, всё это проклятый женский вопрос!» (8, 271).

Перед лицом того, что происходит с женщиной в буржуазном обществе, — а примером может служить судьба Настасьи Филипповны, — попыткой оправдать систему господствующих в обществе отношений является в глазах Достоевского и роман «Дама с камелиями», написанный с позиций сентиментального сочувствия. Эту книгу рьяно защищает «господин с камелиями» Тоцкий. Оскорбленная им женщина, — а вместе с ней и Достоевский, — противопоставляют ему «Мадам Бовари».

Все эти злободневные «газетные» вопросы Достоевский сводит к одному главному, который задает даже такой грязный человек, как приспособленец Лебедев. «Чем вы спасете мир и нормальную дорогу ему в чем отыскали, — вы, люди науки, промышленности, ассоциаций, платы заработной и прочего? Чем? Кредитом?» (8, 310).

Атрибутом этого общества кредита представляется Достоевскому и гуманизм. Томас Манн, включивший свою статью о Достоевском в серию «эссе о гуманизме», высказывает сомнения по поводу того «византийского Христа, на пути которого с самого начала не стояло никаких гуманистических сдерживающих начал».⁷ В рассказе «Сон смешного человека» Достоевский высказывает весьма пессимистическое суждение о роде человеческом: став злыми, люди заговорили о братстве и гуманности и стали понимать эти идеи. В написанном немного раньше рассказе «Скверный анекдот» речь о гуманности произносит пьяный генерал, который снизошел до присутствия на свадьбе одного из своих подчиненных и испортил тому торжество. Иная, он никак не может выговорить нужное слово: «Гу-гу-гуманность». В романе «Идиот» другой генерал — Иван Федорович — вставляет то же модное словечко в одно из своих беспомощных рассуждений и также спотыкается на нем.

Много позднее Ромен Роллан в романе «Очарованная душа» признает «гуманитаризм, гуманность» одной из тех лживых иллюзий, которые ввергли Европу в бездну первой мировой войны. Их преодоление — это очень скоро понял Марк Ривьер — необходимое условие для создания нового, высшего миропорядка. Теперь мы знаем (как знал это и Т. Манн), что понятие гуманизма может

⁷ M a n n Th. Adel des Geistes. Berlin, 1956, S. 619.

быть обновлено; Достоевский с характерной для его мышления антибуржуазной направленностью борется с этим словом как с атрибутом того общества, которое нельзя уже ни исправить, ни улучшить.

Как раз перечисленные мотивы и послужили истоком так называемых антинигилистических сцен в романе, о которых велось столько споров в литературе вопроса. Какой буржуазный исследователь-«остфорш» упустит когда бы то ни было случай привести из Достоевского цитату, направленную против социализма? Но что мог знать Федор Достоевский о социализме в 1862 г.? Тот факт, что к этому времени уже вышел первый том «Капитала», вряд ли что мог значить для левого славянофила. Выведенные в романе представители течения (а речь идет, как сразу же отмечается, не собственно о нигилизме, а о «некотором его практическом последствии») — для Достоевского не «оборотная сторона» буржуазии (как обычно считают), это и вправду ярые *радикальные буржуа*, из тех, с кем пришлось размежеваться Марксу и Энгельсу перед 1848, Ленину перед 1905 годом, чтобы пролетариат мог выступить в роли освободителя человечества, а не превратился в придаток и орудие все того же общества кредита. У Достоевского как раз подобные буржуа и пользуются шелухой либеральных фраз о «свободе критики», «голоса совести», о «праве человеческом» (8, 223).

Здесь проявляется одна особенность прогрессивных общественных сил России того времени, которой обычно не уделяют должного внимания в литературе, — носителями их были мелкобуржуазные слои, а потому и их лозунги не могли не выражать буржуазных интересов — вперемежку с фразами об интересах народа. Не подлежит сомнению, что самые значительные мыслители, такие как Чернышевский, Добролюбов и «блестящая плеяда»⁸ самоотверженных борцов (интересно, что среди них был и человек по имени Ипполит Мышкин), снова и снова преодолевали в теории и на практике эту буржуазную ограниченность и сумели приблизиться к социал-демократическому, пролетарскому освободительному движению. Луначарский указывает, что Чернышевский нередко сомневался в возможностях революционного движения того времени, и советует внимательнее прочесть с этой точки зрения его неоконченный роман «Пролог». Но ведь сомнения Чернышевского касались не только своевременности переворота, но и исторических возможностей всего направления. Даже в Герцене, не говоря о Ткачеве, тем более о Бакунине, Маркс и Энгельс видели мыслителей принципиально иного склада, чем «великий русский ученый и критик Н. Чернышевский».⁹ Их личного героизма в борьбе за свободу никто при этом не отрицал. Достоевский, с фантастической лихорадочностью отдавшийся работе над пер-

⁸ Ленин В. И. Собр. соч., т. 6, с. 25.

⁹ Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., т. 23, с. 18.

выми планами романа «Идиот», не упустил тем не менее возможности присутствовать в сентябре 1861 г. на заседании международного конгресса пацифистов Лиги мира и свободы в Женеве. В это же время он мог видеть Михаила Бакунина и других русских эмигрантов на квартире у Н. Огарева — друга и соратника Герцена. Антибуржуазная позиция помогла Достоевскому почувствовать буржуазную сущность этих прогрессивных и даже революционных сил. Почему же он должен был подойти к ним исторически? Почему ему было не обрушиться с критикой и на них в своем страстном протесте против буржуазного мира? Не отсюда должна была Россия ждать обновления.

Так откуда же? К числу распространенных заблуждений относительно романа «Идиот» принадлежит мнение, будто в своей импровизированной речи перед представителями аристократии, в последней части романа, Мышкин хочет указать этой знати ее миссию. Итак, феодально ориентированная, обращенная в прошлое критика буржуазии? никоим образом. Выведенные в романе представители аристократии осуждены Достоевским. Тоцкий и Епанчин, хоть они оценивают себя иначе, для Достоевского стоят на одной ступени с Фердыщенко. Евгений Павлович чувствует себя в конце романа «совершенно лишним человеком в России» (8, 508); он им был уже и раньше. А в изображении великосветского общества в четвертой части у автора появляется сарказм, которого до этого не было в романе. Перед нами — падучие самодовольные люди; внешность — лучшее, что в них есть, но и это не заслуга аристократов Достоевского, так как эта внешность «досталась им бессознательно и по наследству» (8, 442). Этот мир еще более фантастически уродлив, чем мир буржуазии, и наивность Мышкина в том и состоит, что он этого не замечает. Он-то как раз утверждает, будто слушатели его не таковы, и жестом просветителя разворачивает перед ними свою программу обновления России аристократией. Сцена эта — одна из тех позорных поражений, которые суждено пережить Мышкину в последней части романа, и оно тем мучительнее, что неизбежность его более всего очевидна.

Сложный вопрос о социальных корнях определенных художественных образов и характеров нередко решается упрощенно. Дело ведь не в том только, чтобы назвать одну из сил, действующих в это время в обществе. Так же как в высшей математике в результате сложного процесса многократного абстрагирования возникают «метареальности», над которыми производятся дальнейшие операции, как будто над самой отображаемой реальностью, послужившей исходной точкой всему мыслительному процессу, хотя этих метареальностей и не существует, — точно так и у глубоко чувствующих писателей в результате сложного переплетения реальных социальных фактов с философскими традициями и логическими схемами возникают человеческие образы, живущие в такой «метареальности», что ее обязательно существующая

в конечном счете связь с социальной действительностью, в которую она (гораздо более непосредственно, чем математика) вторгается, не лежит на поверхности. Часто сведение таких образных представлений к их существующей социальной почве дает в итоге лишь примитив. Это и произошло с тем вульгарно-социологическим направлением в духе Переверзева, которое, если оно не объявляло исходной точкой творчества Достоевского аристократию, устанавливало его связь с «упадочным» мещанством. Что могло дать подобное определение, кроме нелепого искажения великих творений и «предостережений»? А в нашем обществе, где уже нет упадочного мещанства, Достоевский будет продолжать жить лишь как «гигантский памятник весьма важной в нашей истории эпохи»? ¹⁰ Так ли это на самом деле?

Большую часть своей жизни писатель прожил среди представителей социальных низов большого города — будь то Петербург, Женева или Дрезден. Обычно он поселялся на четвертом или пятом этаже углового дома, а его заграничные путешествия не имели ничего общего с традиционными турне по Бедкеру: его интересовали не пейзажи и памятники, а жизнь улицы. Необычно проходили и посещения картинных галерей — лишь одна какая-нибудь картина целиком захватывала его. Достоевский подсмеивается над своей женой, для которой «целое занятие пойти осматривать какую-нибудь глупую ратушу, записывать, списывать ее» (П., II, 27).

Достоевский делает своего Льва Мышкина князем, чтобы избавить его от социальной ограниченности Сонечки Мармеладовой, дать ему возможность познакомиться с самыми разными слоями общества, увидеть все его как бы в разрезе. Писатель заставляет героя прожить детство в бедности, чтобы приучить его к лишениям, а затем делает его наследником огромного состояния, так что Мышкин попадает в парадоксальное положение: он может участвовать в торговле за Настасью Филипповну и превзойти ставки своих конкурентов — несчастье выставленного на продажу человека от этого меньше не становится.

И все же лишь социальная независимость героя дает автору возможность осуществить тот план, ради которого и задуман роман: «...изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь» (9, 358). Еще за несколько лет до этого, в предисловии к русскому изданию «Собора Парижской Богоматери», Достоевский признал за автором этого романа открытие «основной мысли всего искусства XIX века»: «восстановления погибшего человека» (XIII, 526). В эпоху жестокого подавления всего человеческого подобный замысел едва ли был осуществим. Революционный кризис 1860—1861 гг., вызванный крестьянскими волнениями и революционно-демократическим движением среди интеллигенции, царизм ликвидировал с помощью

¹⁰ Луначарский А. В. Русская литература. М., 1947, с. 246.

немногих реформ и множества штыков. Революционное движение пролетариата было делом далекого будущего. Достоевскому оставались для образа Мышкина лишь идейные источники: Жан-Жак Руссо (не случайно герой приезжает из горной швейцарской деревушки), Лев Николаевич Толстой (совпадение имени и отчества не случайно: известен положительный устный отзыв Толстого о Мышкине), Дон Кихот (Достоевский: «Во всем мире нет глубже и сильнее этого сочинения. Это пока последнее и величайшее слово человеческой мысли, это самая горькая ирония, которую только мог выразить человек») (XI, 235), и наконец — Христос. Недалекий генерал Епанчин первым замечает: «Точно бог послал!» (8, 44). А вслед за тем и жена его подчеркивает почти в тех же выражениях: «Я верую, что вас именно для меня бог привел в Петербург из Швейцарии» (8, 70). Бросается в глаза настойчивость этих повторений: «я всё еще верю, что сам бог тебя мне как друга и как родного брата прислал» (8, 265). Подобным образом, но без всякого высокомерия Мышкин сам думает о себе еще по дороге в Петербург: «Теперь я к людям иду» (8, 64), хотя он ведь был с людьми и в своей швейцарской лечебнице. И уже будучи вовлеченным в социальные конфликты, он понимает, «что если только останется здесь хоть на несколько дней, то непременно втянется в этот мир безвозвратно, и этот же мир и выпадет ему впредь на долю» (8, 256). «Я за людей боюсь», — признается он, наконец. Различные вариации на тему «Христос и грешница» подкрепляют постоянно повторяющиеся ассоциации, связанные с основным мотивом: Христос приходит на землю. Возникает вопрос: ради чего? Ради ли проповеди «одной из самых гнусных вещей, какие только есть на свете», именно: религии? Из стремления «поставить на место попов по казенной должности попов по нравственному убеждению», т. е. ради культивирования «самой утонченной и потому особенно омерзительной поповщины»?¹¹ Есть, конечно, и это — не стоит сглаживать противоречия. Выдвигаемый Мышкиным принцип терпения повлек бы за собой в политическом и экономическом отношениях самые реакционные и бесчеловечные последствия. В состоянии эпилепсии Мышкин приходит к выводу, что сострадание есть важнейший и, может быть, единственный закон человеческого бытия. Но мы поступили бы опрометчиво, сведя к этому все поступки Мышкина и то, как понимает своего героя Достоевский. Напротив, ведь все идейно-литературные источники должны были дать ему материал именно для образа «положительно прекрасного человека», к созданию которого он стремился. Именно так понимают Мышкина самые разные герои романа: Ганя Иволгин, который, не будь он столь ординарен, выбился бы в ротшильды, неоднократно признается, что встретил в лице князя первого благородного человека — поэтому он и потянулся к нему;

¹¹ Ленин В. И. Собр. соч., т. 17, с. 210.

Настасья Филипповна с благодарностью повторяет в день своего рождения, что князь — первый истинно преданный человек в ее жизни, а, убегая, бросает: «В первый раз человека видела!» (8, 148). Так же прощается с ним перед попыткой самоубийства Ипполит, который не присутствовал при предыдущей сцене: «Я с Человеком прощусь» (8, 348). Ипполит, конечно же, не обозначил в своих словах большой буквы — ее вставил за него сам Достоевский, как это позднее делал в своих произведениях и Горький. В этом романе можно найти даже знаменитую формулу Горького о гордом человеке («На дне»), хотя она скрыта за многословной болтовней юного Коли и относится к одному только Ипполиту: «Но человек <...> ведь это гордо!» (8, 367). Этому-то мальчику, Коле Иволгину, и принадлежит будущее.

Достоевский наверняка не раз подвергал сомнению возможность положительно оценить в человеке гордость, осуждаемую христианской религией. И все же он не может не восхищаться гордым чувством человеческого достоинства, той гордой красотой, какую противопоставляет миру варваров Настасья Филипповна. Важным мотивом поступков Аглаи в последней части романа тоже оказывается ее «почти беспредельная гордость» (8, 472); читателю она представляется естественной и оправданной, хотя при данных обстоятельствах еще стремительнее влечет героиню в бездну несчастья. И нам понятно, когда возмущенная девушка в отчаянии кричит Мышкину: «Зачем вы всё в себе исковеркали, зачем в вас гордости нет?». В полифонии противоречивых суждений раздаются лишь два голоса, осуждающих «невыносимую, бесовскую гордость» Настасьи Филипповны (8, 482), ее «самолюбие» (8, 103), «алчный ее эгоизм» (8, 482) — это Ганя и затем Евгений Павлович. Но оба имеют на то — в соответствующих ситуациях — сугубо личные причины, и Достоевский, судя по всему, не разделяет их мнения.

Революционер-демократ М. Е. Салтыков-Щедрин, единственный современный критик, который уделил внимание основной идее романа «Идиот», счел возможным похвалить автора за «предвидения и предчувствия», которые составляют цель «отдаленнейших исканий человечества» и ведут к попытке «изобразить тип человека, достигшего полного нравственного и духовного равновесия».¹²

Эти столь актуальные для нас сегодня поиски нового человека таили в себе, правда, и опасность, которую, однако, автор заметил и сумел избежать: нельзя было, чтобы «великих» узурпаторов прежнего мира сменил «улучшенный» великий индивидуалист. Достоевский сам был изумлен, когда вместо задуманного одного главного героя их в романе оказалось два, а в дальнейшем число это стало еще увеличиваться: чем четче прорисовывались в своем взаимодействии сюжетная и идейная плоскости ро-

¹² Салтыков-Щедрин. Собр. соч., т. 9, М., 1970, с. 413.

мана, тем больше возникало в нем сюжетных и идейных центров. Настасья Филипповна — центр «земной» линии, Мышкин — «духовной»; пришедший «сверху» герой обретает в лице Рогожина антипод «снизу», а есть еще Ганя, первоначально задуманный как своего рода Франц Моор, а рядом с Настасьей Филипповной появляется Аглая. Но, с другой стороны, неосновательны и жалобы Достоевского, будто ему пришлось иметь дело с бесчисленным множеством «действующих лиц»; мы насчитали их чуть более трехсот (сюда добавляется еще более семидесяти исторических лиц и литературных героев, так как в обширные диалоги включен большой культурно-исторический материал). Для романа такого объема это отнюдь не много. Большое число лиц появляется лишь в рассказах других — Мышкина (о его жизни в Швейцарии и путешествиях по России), Ипполита (в его тетради) и Иволгина (фантастические приключения с Наполеоном), — это не действующие лица в узком смысле слова. Главное же — в романе Достоевского нет массовых сцен: если даже собирается большое общество (по разу в каждой части романа), то состав его точно известен; известно даже, из кого состоит банда Рогожина и великосветский паноптикум.

Здесь важен каждый человек, у каждого есть свой голос, или, как мимоходом замечает Иволгин, «всякий имеет свое беспокойство» (8, 405).

М. М. Бахтин, так много сделавший для выяснения структуры романов Достоевского и так мало задумывающийся над социальной ее подоплекой, не учитывает, что «многоголосие» Достоевского, при котором ни одно действующее лицо не становится рупором автора и все мнения и суждения соотнесены друг с другом, имеет и существенную идейную основу: в противовес буржуазному индивидуализму создается мир, в котором что-то значит каждый отдельный человек, и мнение его, следовательно, надлежит выслушать. В «Идиоте», например, можно наблюдать, как помимо Мышкина, Настасьи Филипповны, Лизаветы Прокофьевны, Аглаи и ее сестер — т. е. людей с добрыми задатками — авторские суждения высказывают и люди «грязные» — Ганя, Лебедев, Рогожин, Ипполит, Епанчин, Иволгин; исключение составляют лишь те, кто предстает в романе неисправимыми, как например морально разложившийся аристократ Тоцкий или буржуазно-радикальный болтун Докторенко.

«В отвлеченной любви к человечеству любишь почти всегда одного себя» (8, 379) — эта очень важная фраза Настасьи Филипповны (у советского писателя Л. Леонова она стала ядром романа «Вор») не направлена против какого-либо конкретного героя, она призывает всех к любви конкретной, обращенной к конкретным людям. В такого рода декларациях, однако, всегда есть и свои подводные камни, и в романе они тоже дают о себе знать, проявляясь отчасти в виде неразрешимых противоречий, поданных автором как антиномии.

Так, смертельно больного Иполлита писатель шаг за шагом приводит в результате сложного развития к выводу, что единственное доброе дело, одно-единственное «благодетельство» (если только оно не плод аристократической скуки) может иметь смысл для человечества. И он приводит свою идею в исполнение, когда за несколько недель до смерти случайно оказывается в состоянии помочь врачу, запутавшемуся в сетях царской бюрократии и потерявшему уже надежду найти место. Утверждение, что любой человек, при любых обстоятельствах в состоянии помочь другому, как будто бы оправдывается. Но автор, очевидно, забывает, что то же самое место уже не смог получить кто-то другой, в нем нуждающийся.

Взросший интерес к Достоевскому в нашем обществе вызван, по-видимому, тем, что теперь, когда уже созданы условия для равноправия человека, мы придаем все большее значение задаткам и способностям каждого и стремимся к всестороннему их развитию на благо всех. Нелепый лозунг: «Не смей иметь личности, *fraternité ou la mort!*» (8, 451), который Достоевский, по-видимому, слышал у Бакунина или Нечаева (против них направлен его роман «Бесы»), не имеет ничего общего с социализмом, хотя Мышкин и утверждает обратное в своей наивной речи перед представителями знати. Достоевский обвиняет окружающее общество прежде всего в том, что оно не принимает в расчет человека, — в мире буржуазного расчета нет места индивидуальности, если только это не индивидуальность властителя. Для Достоевского же интерес представляет как раз «чрезвычайная странность сердца человеческого» (8, 396), именно ее следует изучать. В роман включено философское положение (из которого делаются и эстетические выводы): «Причины действий человеческих обыкновенно бесчисленно сложнее и разнообразнее, чем мы их всегда потом объясняем, и редко определенно очерчиваются» (8, 402). В другом месте говорится, что очень хороший шахматист рассчитывает на 10 ходов вперед — сколько же еще остается неизвестным! Это один из тех вопросов, над которыми бьется Иполлит: «...какое участие вы будете иметь в будущем разрешении судеб человечества?» (8, 336), и тем самым ставится самый важный вопрос — вопрос о смысле человеческого существования, и притом речь идет не о великих личностях, а о каждом рядовом человеке.

В чем же видит смысл своей жизни Лев Николаевич Мышкин? Быть там, где нуждаются в помощи «отверженные всех слоев общества» (заглавие романа В. Гюго Достоевский заносит в свою записную книжку), там, где человеку в беде надо протянуть руку или обнаружить человечность, скрытую под толстым слоем наносного мусора. Здесь-то и сосредоточено начало книги об «Идиоте», а может быть, и всего творчества Достоевского, — его «на первый взгляд фантастическая, а на деле — удивительно

реальная человечность», как это сформулировал Ст. Цвейг.¹³ Здесь-то и скрывается, на наш взгляд, тот «камертон», которого не смог увидеть Луначарский в «какофонии» «колоссальной этической разрухи», та гармония, которой, с его точки зрения, не было у Достоевского в «отдельных мировоззрениях <...> почти подсознательно прорывающихся в действиях и дисгармонических речах».¹⁴

Мышкин существует для всех и каждого в отдельности. Он помогает и там, где его не просят о помощи, но где ему она кажется возможной. И при этом он всегда ищет в каждом человеке его «беспокойство», о котором говорил Иволгин, то внутреннее противоречие, которым определяются воззрения и поступки.

В Бурдовском, согласившемся играть роль вымогателя наследства, он видит не врага, а обыкновенного человека, разглядев под кажущейся непорядочностью добрые черты: благоговенье перед матерью, стремление занять какое-то место в жизни. Почему бы это не могло послужить основой для перемены? Мышкин помешал Гане Иволгину сделать карьеру Ротшильда, но, расследуя дело Бурдовского, Ганя все же сумел принести пользу и проявил тут талант, порядочность, такт. Ганиного отца, когда его можно было бы уличить в краже, Мышкин называет «честнейшим человеком» (8, 409) и так с ним и обращается. В результате генерал исправляет свою ошибку. Даже в сомнительном «боксере» Келлере, пьянице и интригане худшего сорта, Мышкин открывает что-то детское и простодушное, и это, может быть, — еще только может быть! — станет поворотной точкой в его жизни. Мышкин не боится риска и тратит время и деньги на человека, жестоко его оскорбившего. Ему ничего не жалко, если речь идет о спасении человеческого начала в этом враждебном человеку мире. «Вы страдаете и за преступника», — говорит ему Лебедев (8, 373).

Нет необходимости подробно говорить о том, что делает Мышкин для Настасьи Филипповны. Его великодушный поступок в первой части романа спасает ее от брака с Ганей, и Мышкин предлагает ей выход из сложившейся ситуации, — другое дело, что выход этот оказывается для нее неприемлемым. Аналогичным образом обстоит дело и с Аглаей. Уже после первой беседы с Мышкиным в ней вспыхивает то недовольство своим бесполезным существованием, которое позднее находит выражение в словах: «Я хочу хоть с одним человеком обо всем говорить как с собой <...> Я хочу быть смелой и ничего не бояться <...> хочу пользу приносить <...> хочу совершенно изменить мое социальное положение» (8, 356—358). Это дело рук Льва Николаевича. Мышкин едва ли не единственный, кто принимает всерьез тет-

¹³ Z w e i g St. Drei Meister, S. 91.

¹⁴ Луначарский А. В. Собр. соч., т. 1, с. 161.

радь Ипполита — малопривлекательную смесь жизненных наблюдений, жалоб больного и плохо усвоенных теорем разного толка. Мышкин же дает ответ на основной вопрос Ипполита: для того ли созданы люди, чтобы мучить друг друга? В чем счастье? И при этом Мышкин не пытается обнадежить больного дешевыми утешениями; он помогает ему с достоинством умереть.

Это и есть, следовательно, призвание Мышкина, человека без определенных занятий: быть человеком. На приеме у генерала Епанчина ему было трудно ответить на вопрос о его особых талантах и свойствах: «...самому хочется посмотреть, к чему я способен» (8, 25). Так, он, собственно говоря, без особого повода, без «дела» приходит к Епанчиным, а вечером того же дня опять без «дела» неприглашенным проникает на празднование дня рождения. Какой этикет мог бы помешать человеку быть человеком?

Упорнее всего Мышкин следует этому предназначению в своих отношениях с Рогожиным. Здесь-то разгорится самый большой спор. Они приезжают в Петербург в одном поезде; мрачная страстность купеческого сына — это антипод светлой одухотворенности Мышкина. Иногда даже кажется, будто бы мы здесь — в противоположность ассоциации с Христом — имеем дело с самим дьяволом. Однако этот сатана, который на аукционе готов заплатить самую высокую цену за человека, — это одновременно и Отелло, полный человеческой самоотверженности, когда речь идет о счастье любимой женщины. (Впрочем, у Достоевского среди многих планов романа был один, по которому Идиот должен был получить черты Яго: позднее он считал возможным вложить в уста Мышкина слова Отелло — 9, 161, 284—285). Мышкин сознает огромную противоречивость в характере своего антипода, возможность стать и хорошим человеком и убийцей, он вмешивается в жизнь соперника, он много раз отнимает у него захваченную им «душу», воздействует в беседах на своего противника настолько, что тот готов стать его другом и обменяться с ним нательными крестами (для староверов — наивысшая степень человеческого сближения), — человек при этом рискует своей жизнью, — и не может спасти от Рогожина ни Настасью Филипповну, ни его самого. Одержимого бесом обывателя невозможно спасти от его собственных грехов, устремленное к добру швейцарское просветительство не может предотвратить катаклизмов разорванного мира.

Но именно здесь становится очевидным, что для Достоевского с князем Мышкиным речь идет не о проповеди человеческой морали в бесчеловечном мире, не о подмене невозможного счастья материального счастьем духовным. Конечно, Мышкин выступает против Чернышевского, когда в разговоре с Рогожиным он намекает на самый популярный роман того времени: «Есть что делать, Парфен! Есть что делать на нашем русском свете, верь мне!» (8, 184). Но «что делать?» Мышкина определяется не по-

корным квиетизмом: напротив, болезненный эпилептик — это сильный, активный характер, который не щадит ни средств, ни времени, ни даже собственной жизни, когда речь идет о человечности: «Эта доброта не пассивная, стоящая в стороне от кипения жизни, а постоянно ищущая себе применения», — пишет о Мышкине М. Б. Храпченко.¹⁵ Это задача, которая намного превышает силы героя. Не раз ему приходит мысль уйти, бежать в полюбившиеся ему горы или по крайней мере немного отдохнуть от этого дурного мира с его множеством трагедий и противоречий (которые для Достоевского имеют форму непримиримых кантовских антиномий и которые лишены утешения гегелевского постулатного развития — отпечаток эпохи без освободительного движения). Но ведь он не может даже выпроводить на ночь из комнаты своих ближних и запереться (Рогожин, Ипполит и Лебедев всегда все тщательно запирают, оба первых прежде всего самих себя). И это тоже причина того, почему Достоевский концентрирует действие своего романа в несколько дней. 27 ноября, первый день действия, проходит для Мышкина прежде всего в мучительных попытках осознать взаимосвязь проблем вокруг Настасьи Филипповны, о которых он знает лишь понаслышке, в которые ему приходится вникать с трудом (обнаруживая при этом великолепное психологическое чутье), пока он в гостиной Иволгиных не выскажет ей, наконец, свой большой упрек: «А вам и не стыдно! Разве вы такая, какую теперь представлялись. Да может ли это быть!» (8, 99). Это один из духовных кульминационных пунктов всей книги. Каждый педагог знает, сколько душевной энергии требует подобное глубокое проникновение в душу другого человека, которое заставляет его в будущем пойти другим путем. Это становится очевидным уже на праздновании дня рождения: когда молодая женщина внезапно спрашивает Льва Мышкина, выходить ли ей за Ганю, ответ стоит ему немало труда; ужасная тяжесть сжимает ему грудь, он едва владеет собой. Другие после крушения своих заветных планов довольно спокойно отправляются домой. «И Афанасий Иванович глубоко вздохнул» (8, 149), как гласит ироническая концовка первой части. Мышкин не находит покоя, он кидается вслед за похищенной, губящей себя Настасьей Филипповной, чтобы вопреки всем доводам рассудка все-таки, может быть, еще спасти ее.

Во второй и третьей частях романа, которые мы назвали замедленными, происходит то же самое. Поиски Настасьи Филипповны превращаются в поиски доброго начала в Рогожине, перенапряжение вызывает приступ эпилепсии. Через три дня мы находим Мышкина в Павловске, но и здесь ему нет покоя: Аглая задает ему свои загадки, затем ему приходится иметь дело с дер-

¹⁵ Достоевский и его литературное наследие. — В кн.: Храпченко М. Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. Изд. 4-е. М., 1977, с. 404.

зостями Бурдовского, Келлера, Докторенко и всех остальных и столкнуться наконец с отчаянием умирающего Ипполита. Среди ночи Настасья Филипповна озадачивает всех своими выпадами против Евгения Павловича. А на следующее утро «слишком, слишком много собралось <...> и других неразрешимых обстоятельств, и всё к одному времени, и всё требовало разрешения немедленно» (8, 254): сначала приходит князь Щ. и его невеста, затем Ганя, затем Келлер со своей неотложной просьбой выслушать историю его жизни. И вот уже у Мышкина, который не отмахивается от посетителя, не считает потраченное на него время вынужденной жертвой, зарождается мысль, а не выйдет ли при добром влиянии что-нибудь путное и из этого человека. Потом приходит еще и Лебедев со своими проблемами. Конец второй части и вся третья посвящены двум следующим дням и разделяющей их ночи. Действие развивается опять линейно, почти без всяких сюжетных параллелей, предвосхищений и ретроспекций. И снова дом Мышкина напоминает голубятню, и снова его одолевают проблемы, которые нужно решить или хотя бы напярчь для решения все свои силы. В лихорадочных заключительных главах все помыслы Мышкина опять сосредоточены на неразрешимых проблемах вокруг Настасьи Филипповны и Рогожина, и теперь уже требуемые усилия окончательно превосходят его возможности. Но ведь почти всегда у него есть, казалось бы, и другой выход: обрести покой, отойти в сторону, уехать. Всё это заботы, которые он сам на себя взваливает. Он не может иначе, ибо он — человек.

Катастрофа наступает не сразу. Не только потому, что он действительно в состоянии помочь отдельным людям, а на других он произвел сильное впечатление: вокруг него возникает нечто вроде особой человеческой атмосферы, которой еще совсем не было вначале. При его осторожном вмешательстве ослабевают душевные судороги, окружающие его люди расстаются с привычками, которые они обрели под влиянием уродливого окружающего мира. Они становятся более открытыми по отношению к князю. И друг к другу они начинают относиться иначе. Лизавета Прокофьевна, которой всю ее жизнь приходилось соединять доброе сердце с образом жизни знатной дамы, становится доступнее для чужих забот — не в смысле «благотворительности», неприемлемой для Достоевского, а в смысле внимания к ближним. Всеобщее удивление вызывает то, что Аглая просит передать привет явно поглупевшему старому Иволгину. Она делает это искренне, почувствовав, подобно Мышкину, что-то от внутреннего «беспокойства» бывшего генерала, Ипполит прекращает тиранить свою семью. Даже отношения между Настасьей Филипповной и Аглаей некоторое время складываются так, как должны были бы относиться друг к другу два человека с такими добрыми задатками, и уже одно то, что эти отношения имели место, означает поворот к человечности в изуродованных отношениях между

людьми, однако затем вновь прокладывает себе путь «нормальная» антиномия. И другие, ранее немислимы, отношения, — например, отношения между Евгением Павловичем и Верой — становятся возможными благодаря примеру Мышкина.

По первоначальным планам романиста, вокруг Мышкина должен был образоваться «детский клуб», в котором с ребяческой непосредственностью проявились бы нормальные человеческие отношения. По неизвестным причинам писатель отказался от этой идеи и осуществил ее лишь в «Братьях Карамазовых». Некоторые наметки этого замысла есть и в «Идиоте», но они висают в воздухе, подобно порванным нитям: эпизод с Мари из рассказа Мышкина о Швейцарии, например, находит определенное соответствие в истории Настасьи Филипповны, а группа детей вокруг Мари такого соответствия не находит. Предпосылкой могли бы здесь послужить дети Лебедева и братья и сестры Ипполита, однако эти дополнительно введенные фигуры почти не используются. Дело ограничивается отношениями младших героев между собой: Коля, Ипполит, Вера и Аглая дают представление о надеждах Достоевского на будущее. Сам Мышкин мало соприкасается с детьми, лишь иногда он интересуется Вериными братьями и сестрами, живущими с ним в одном доме, — он слишком переутомлен. Незадолго до своего эпилептического припадка он вдруг заговаривает с ребенком на улице Петербурга. Но одновременно детские черты обнаруживаются у взрослых, и именно это создает возможность человеческих связей с другими «детскими» характерами. В начале романа благодаря этому возникает духовное родство во время беседы Мышкина с Лизаветой Прокофьевной и ее дочерьми; чистосердечие, непосредственность в восприятии мира, наивное суждение о мире делают генеральшу и Мышкина чувствительными к человеческому поведению окружающих. Кроме них и названных выше представителей младшего поколения детскими чертами наделены в романе еще Александра, Келлер и (только в последней, безысходной, части книги) — Настасья Филипповна, а в отрицательном смысле — Ганя и Епанчин. В общем детское (опять в духе Руссо и Песталоцци) служит у Достоевского символом еще не разрушенной обществом человечности.

Поскольку подчеркивается обратимость социальных отношений, а русская действительность показана критически как мир, стоящий на голове, то неудивительно, что в глазах «нормально» (т. е. извращенно) мыслящих персонажей Мышкин ведет себя как ненормальный, «идиот». Конечно, источником здесь в значительной степени послужили библейские мотивы — близость «дурачка» к богу; гораздо существеннее, однако, с нашей точки зрения, то, как используются эти мотивы: мир и сам ненормален, если самый нормальный человек кажется ненормальным и терпит духовный крах от столкновения с этим миром. За глаза или в глаза окружающие высказываются о Мышкине: он «чудак»

или «дурачок», «не в своем уме», ошибается «по рассеянности», «больной», «помешанный», «странный человек», «смешной», «немного того», «заболел умом», «бедный сумасшедший»; а Мышкин в своей «безумной» наивности откровенно рассуждает о том, идиот он или нет. Но и другие персонажи становятся объектом подобных суждений, если они, подобно Мышкину, ведут себя не в соответствии с уродливой нормой: когда Настасья Филипповна не желает больше участвовать во внешне пристойной сделке, ее поведение объявляется безумным; Ганя может объяснить замешательство своего отца после кражи только как душевную болезнь; любовь Аглаи к идиоту не может не казаться обществу ненормальной; совершенно естественное стремление Ипполита выговориться перед смертью трактуется как безумное. Но ведь безумны — нет, бесчеловечны! — как раз другие, те, кто всегда готовы слушать, если наклеывается скандал, но не чувствуют потребности поддержать юношу и даже сожалеют, когда самоубийство не состоялось на их глазах.

Чтобы поставить этот перевернутый мир с головы на ноги, мало педагогики и человеческого участия к ближнему; если бы Достоевский ограничился этим, его роман был бы давно забыт. Когда у Гете в начале его романа Лотта говорит Вертеру, что он не должен принимать столь горячее участие во всех, иначе он погибнет, она и не подозревает, до какой степени она права. «Болезненная чувствительность» приводит его к поражению; и Достоевский, по мере того как начинают вырисовываться контуры его романа, также понимает, что для его героя возможен лишь трагический исход в отличие от предыдущего романа «Преступление и наказание», проблемы которого хотя бы временно сняты христианской идеей любви к ближнему. Незадолго до завершения романа «Идиот» писатель не без горечи, но с удовлетворением констатировал в письме к другу: «Теперь, когда я всё вижу как в стекло, — я убедился горько, что никогда еще в моей литературной жизни не было у меня ни одной поэтической мысли лучше и богаче, чем та, которая выяснилась теперь у меня, для 4-й части, в подробнейшем плане» (П., II, 141).

Четвертая часть — это история полного и абсолютного поражения Мышкина, она последовательно подводит к выводу, что стремление к человечности в данных условиях может окончиться только несчастьем. Правда, герою остается сознание, что он облегчил смерть генералу Иволгину и юному Ипполиту, но что это за горькое утешение! Все остальные попытки явно терпят крах: результатом его наивной речи перед дворянским обществом оказывается разбитая китайская ваза и еще один эпилептический припадок. Свадьба с Аглаей не состоится; смешон — действительно смешон! — Мышкин, когда Аглая отказывает ему: он радуется, что может остаться и смотреть на нее. Затем расстраивается и другая свадьба, невеста бежит от него перед самым венчанием. В четвертой части происходит трагическое столкновение

обеих соперниц, исход которого, как бы ни обернулось дело, может быть только трагическим. Все неудержимо катится к катастрофе, и подобно тому, как до этого Мышкин мог лишь по-детски беспомощно гладить всхлипывающую Настасью Филипповну, так в конце ему остается только сострадательно гладить Рогожина — и сойти с ума от противоречий этого мира, «больше он ничего не мог сделать!» (8, 506). Нет ничего более последовательного в творчестве Достоевского, чем это ужасающее крушение всех надежд. Человечность ничего не стоит, она гибнет.

Анна Достоевская, вторая жена писателя, рассказывает в своих мемуарах, какое впечатление произвела на ее мужа упомянутая выше картина Ганса Гольбейна Младшего «Христос во гробе». Ради этой картины они даже специально заезжали в Базель по пути из Баден-Бадена в Женеву (это время первых набросков «Идиота»). На необычно вытянутом в длину полотне 24-летний художник изобразил лежащего в гробу Христа, на теле которого видны следы последних мучений. Полуоткрытые мертвые глаза, заострившаяся торчащая кверху борода, резко обозначившиеся плечи — это стремление к научной точности в передаче натуры усиливает впечатление ужаса. Крышка плотно прилегает к гробу, открытому только со стороны зрителя. Ни один святой не смягчает ужаса милосердным жестом, как это обычно бывает в «снятии со креста», не указывает умиленно на грядущее воскресение.

Мы знаем, что Достоевский, как пригвожденный, стоял перед этой картиной, постепенно на лице его появилось то выражение, которое бывало перед эпилептическим припадком, только силой его удалось увести. Через некоторое время, успокоившись, он пошел взглянуть на картину еще раз. В романе об этой картине говорят Мышкин, Рогожин и Ипполит, копию с нее писатель помещает в доме Рогожина. У всех одно и то же впечатление: подобная картина может разрушить в человеке веру. Ипполит особенно четко формулирует эту мысль, и никто другой ее не опровергает: законы природы столь сильны, что невозможно уйти из-под их власти — и воскреснуть, и вряд ли Христос был бы готов принять страдание, знай он об этом заранее. Достоевский ни перед чем не останавливается в своих выводах, когда речь идет о познании действительности.

Так неужели все было напрасным перед лицом «законов природы» враждебного человеку мира? Значит, Мышкин потерпел окончательный крах? Подобные вопросы возникают всякий раз, когда писатель позволяет своим героям — в самых разных общественных условиях — до конца раскрыть все свои человеческие возможности; если такой герой слишком опережает время, ему остается лишь умереть. Потерпел ли крах Григорий Мелехов? Или Старик у Хемингуэя? Или Христа Т.? Все они стремились более или менее осознанно быть человеком «до конца», независимо от обстоятельств, как ни различны социальные условия,

в которых это стремление родилось и которые могут способствовать или, наоборот, препятствовать его осуществлению. Подобные образы принадлежат к важнейшим достижениям литературы, так как человек предстает в них во весь рост. Конечно, такое изображение внедиалектично, оно не учитывает конкретных условий, оно задает масштабы, непригодные на данный момент и даже непрактичные. Мышкин — один из таких образов. Мы не будем обращаться за утешением к додиалектическому релятивизму, выраженному в антиномии Ипполита (Достоевского): счастье Христофора Колумба состояло не в открытии Америки, не в результате, а в самом процессе, в поиске. Нет, нам знакомо счастье поисков и открытий, из которых на следующем этапе рождаются поиски. Но в романе есть еще одно утешение, которое оставляет себе Достоевский и которого никто не оспаривает. Его-то нам и следует подчеркнуть. Это высказанный как бы мимоходом в последней части вопрос Александры (старшей из трех сестер, которую Достоевский в начале романа сравнил с «Мадонной в плаще» Ганса Гольбейна): «В чем будет полагаться, через несколько лет, значение порядочного человека у нас в России: в прежних ли обязательных успехах по службе или в чем другом?» (8, 422). Люди уже больше не будут ходить «вверх ногами».

Перевод Л. В. Славгородской.